



ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: СТРАНИЦЫ КЛАССИКИ

О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ РАДОСТИ

Макс Шелер

Перевод выполнен по изданию: *Scheler M. Vom Verrat der Freude / Liebe und Erkenntnis.* Bern und München: Francke Verlag, 1970. S. 69–72. Впервые работа была опубликована в 1921 году (по другим сведениям в 1922 году) в альманахе берлинского издательства друзей книги Wegweiser Verlag.

Рискну бросить упрек главному направлению немецкой истории духа XIX века — упрек в том, что, на мой взгляд, имело куда большее значение и куда более глубокие последствия, чем это может показаться на первый взгляд, для всей нашей немецкой жизни и нашей трудной современной судьбы. Этот упрек я называю “предательством радости” — будь то в пользу ложного героизма или ложной бесчеловечной идеи долга.

Предательство радости начинается с Канта. Как говорится в школьных учебниках по философии, он “противопоставил плоскому эвдемонизму эпохи Просвещения свой суровый и возвышенный антиэвдемонистический идеал долга категорического императива”. В этом суждении могла бы скрываться правда о том, что касается реакции на философию Просвещения, — ведь для нее, как и для Лейбница, всякое удовольствие было “символом прогрессивного движения к совершенству”. Могла бы — если бы Кант не выплыл вместе с водой и ребенком! Если бы Кант одновременно не “предал” более глубокие естественные радости — назовем их “источниками” (“quellenden”), — то есть не совершил ошибку, оценивая их значение для нравственной жизни человека, когда с полным правом низвергал пошлый идеал удобства и довольства своего времени, на котором был воспитан. Если бы Кант при слове “радость” вспомнил бы и о той глубокой радости духовной деятельности, которую Аристотель включил в свое понятие эвдемонии (благостное и прекрасное состояние души), или о *hilaritas et serenitas animi*¹ римлян, или о богосокровенном христианском “блаженстве”, не подверженном ударам внешней “судьбы”, — “блаженстве”, которым мог быть преисполнен даже мученик, горящий на костре. Если при слове “счастье” Кант вспомнил бы что-то еще, кроме сомнительного душевного “счастья” своего времени — кроме состояния чувственного удовольствия, — и если бы он не принял в корне ошибочную сенсуалистическую теорию некоторых французов и англичан, согласно которой все виды чувств счастья и страдания (кроме чувства “уважения к нравственному закону”) должны быть генетически выведены из сенсорной чувственности (*sinnliche Gefuhle*). И если бы он, опровергнув учение о том, что счастье не может быть непосредственно искомой произвольной целью (*Willens zweck*) наших поступков, не счел тем самым решенной большую и сложную проблему “эвдемонизма”.

Но авторитет Канта имел огромное значение для формирования нашего нового немецкого этоса. Перенося свое антиэвдемонистическое учение также и на историю, он вместе с Ж.-Ж. Руссо учит, что цивилизация

¹ Радость и безмятежность души (лат.) — Примеч. пер.

сделала человечество скорее несчастным, нежели счастливым; но вопреки Руссо, который делает отсюда вывод о “возвращении к природе” и приходит к своему идиллизму, Кант отвергает его исторический масштаб и требует движения “вперед несмотря ни на что” к “высшему земному благу” — “разумному государству”. Этот кантовский лозунг был принят Фихте, потом Гегелем, для которого всемирная история — не “юдоль счастья”, а затем нашими великими пессимистами, Шопенгауэром и Э. фон Гартманом, взявшими у Канта его негативное учение о счастье и его глубокий философско-исторический пессимизм. И даже великий Фридрих Ницше, совершивший переворот в ценностях, эмпатически заявляет: “К счастью ли я стремлюсь? Я стремлюсь к своему делу”.

Такое мощное этическо-философское течение, как этот освященный авторитетом Канта героизированный антиэвдемонизм, нельзя оценивать лишь рационально и в свете одной лишь истории духа — по крайней мере, если эта теория есть *нечто большее*, чем красавая теория в учебнике по философии, если она стала *живой формой ценностного восприятия жизни у лучших представителей целого народа*. В таком случае она всегда является в то же время и душевно-духовным выражением родовой традиции, духа государства, природного ландшафта — души и нравов, почвы и климата, — короче говоря, *национальным выражением исторически и этнически сложившегося типа человека*. Понятое в этом смысле, “предательство радости” приобретает ясные наглядные формы.

Сначала о *родовой традиции*. Разве не видно за этим суровым идеалом жизни аскетичного рыцарства орденов, колонизировавших земли восточной Германии, их порядка, деяний, влияния, их господства, основанного на предельном напряжении воли? Разве могли вырасти такие идеи на почве старинной зрелой культуры, — на рейнской, среднегерманской или южно-германской земле, — где человек не должен был тяжелым трудом отвоевывать себе хлеб насущный у скучной непокорной природы, где тот, кто господствовал, не должен был сначала искусственно навязывать неорганизованному коренному славянскому населению порядок и форму, что едва ли могло делаться красиво и вызывать в ответ любовь? [Разве могли эти идеи вырасти] там, где культура, цивилизация, христианство значительно *древнее*, где душа может обять природу и ближнего с большей мягкостью и любовью, где человека даже при самом прилежном труде могут наполнить и чувство легкости, и чувство счастливой преданности тому, что уже *достигнуто культурой*, и чувство плавного ослабления напряжения воли в спокойном восприятии полноты жизни? Конечно, нет!

Дух государства! “Предательство радости” имеет не только восточно-колониальное происхождение, но и выражает специфический дух *старой Пруссии*. А в нем преобладает один тип духа — духа Фридриха Великого: его форма жизни и ethos суть тот скрытый образец для этоса “категорического императива”, который и самим Кантом осознавался, вероятно, лишь наполовину [4; 1]. Героическая жизнь Фридриха, хотя и были в ней удовольствия, прошла на редкость безрадостно. Судя по письмам, даже мысли о славе, воспитанные в нем на античных образцах и наполнявшие в первые годы правления, скоро перестали его вдохновлять. Мотивы беспримерного исполнения Фридрихом королевского долга не объяснимы: они, словно “в воздухе”, повисают в глубине его души — подобно тому, как рациональный “категорический императив” парит в “универсуме” Канта. У них нет основания ни в более глубокой *религиозности*, сулящей блаженство за нравственную верность, ни в какой-либо из идей, почитавшихся в ту эпоху: *осчастливить всех людей, даровать счастье народу и т.п.*



ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: СТРАНИЦЫ КЛАССИКИ

Последние исключали глубокий пессимизм Фридриха в оценке человеческой натуры, его жестокое презрение к людям. Он был величайшим и делал величайшее — но он не знал, для чего и во имя чего! Презрение к счастью — вот чему учит героическая жизнь того, кому довелось так часто и так глубоко разочаровываться во всем человеческом.

Наконец, ландшафт, климат, люди! “Предательство радости” не возникает в условиях щедрой природы, дарующей людям свои плоды, — не возникает оно и в окружении высоко одаренных людей, хорошо воспитанных в нравственном и гражданском отношениях. Вернер Зомбарт, описывая исконно прусские земли и живущих там людей, остроумно и метко заметил: «А что еще, в конце концов, остается делать в столь скучном, бедном окружающем мире, где ничто не располагает к любви и радости, как не выполнять “свой долг”?» [3]. Оскар Уайльд был не так далек от правды, когда сказал: “Долг — это поведение, которого придерживаются в отношениях с нелюбезными людьми”.

Таким образом, почти мазохистское героическое презрение к счастью, характерное для данного этоса (какого могущества ему удалось достичь в тесных границах!), имеет не только узко определенные исторические корни — оно происходит также из человечески-природных недостатков. Оно напоминает мне о лисе, для которой виноград был слишком зелен потому, что она не могла до него дотянуться.

Здесь не место для чисто предметного исследования, в которое могло бы войти все, чему учат прогрессирующие ныне психология и аксиология человеческих чувств (и патологий их атрофии). Сошлюсь на рассмотрение проблемы эвдемонизма в моей этике². Представленная здесь точка зрения также отвергает любого рода целевой эвдемонизм (*Zweck- und Zielleidaimonismus*). Радость — источник и необходимое сопутствующее явление, а не цель всякой добной жизни и всякого благородного бытия. Чем изобильней радость проистекает из центра нашего “Я”, тем она глубже и несокрушимее для ударов внешней судьбы. “Хотение” чувственного удовольствия — это обычно признак и следствие страдания более глубоких центров нашей души. Радость же есть сущностный элемент всякой добной жизни, всякого благого бытия и навсегда им останется. “Только счастливые люди — добные люди”, верно сказала как-то Мария Эбнер-Эшенбах. Лютер был глубоко убежден в том, что только добрый человек может сделать доброе дело, между тем как добро дело не может сделать человека добрым, и что только блаженный в Боге может быть “добрим человеком”.

Так будем же твердо стоять на этой идее вопреки ложному “предательству радости”, а “Оду к радости” Шиллера в музыкальном произведении Бетховена воспримем как целительное средство против односторонней направленности немецкого духа!

“Из радости рождаются все существа и в радость они возвращаются” (древнее индийское изречение)³.

Литература

1. Mann Thomas. Friedrich und die grosse Koalition. Berlin, 1915.
2. Scheler M. Der Formalismus in der Ethik und die material Wertethik / Max Scheler. Gesammelte Werke. Bd. 2. Bern und München: Francke Verlag, 1980 Abschn. V. B. 9.
3. Sombart W. Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert, 3. Aufl., Berlin, 1913.
4. Zeller Ed. Friedrich der Grosse als Philosoph. Berlin, 1886.

© 2016 А.Н. МАЛИНКИН, кандидат философских наук,
пер. с нем. и примеч.

² См. [2]. — Примеч. пер.
³ “Все рождается от радости, радостью держится и в радость возвращается”. (Упанишады) — Примеч. пер.